М.Г.

Ваше письмо от 18.3. получил. Посылаю, согласно вашей просьбе, два американских из-за плохо дорос автобиографии.

Без фитового листочка

Я родился в 1957 году в ночь под Иоана Купала. По легенде в эту ночь цветет папоротник. Легенда ищут цветок, который открывает клады. И еще в эту ночь цвела Россия песнями и кострами. А сам пригнал через пламя, обжигая пятки и ноздрь.

Меня принимала сумасшедшая акушерка. Я родился с кишками наружу и отторженными ушами. Говорят, что моя голова была похожа на кухонный подсолнух. Сумасшедшая акушерка приезжала мять за порта. Она начинала отстригать мне голову ножницами. Каким-то образом живую отцу удалось убедить ее отказаться от этой благородной мысли. Прямо от нас акушерка уехала в дом умалишенных.

Все детство я проиграл в солдатики. У меня были самые обычные деньги, карлуса, фрыши. Однорукий генерал, лет пятнадцати тому назад лишившийся в кою ночь-тогда вторжения, был моим неизменным телефоном-секретарем. Командуя оловянными эскадронами, жертвуя в сражениях подушки простых батарей, я пропадал по ковру в моей детской пока вторую половину моей хронической влюбленности. Однорукий разбил моего соперника в генеральских двупогах. Мои снаряды из чудодейной бумаги смяли его пехоту. Бурк, поднятый в ванну недогипедными нагрузками, отнял у него его эскадру. Тараканы, пойманные из папиросной коробки, опрокинули его полководческое, пробирались по спинке дивана в обход моего левого фланга. Однорукий генерал не перенес этого. Аутотерапия: он умер от разрыва сердца на моей детской кровати. Меня вынули из его холодеющей [illegible] самого [illegible] каблуки. С тех пор я [illegible]

РГАЛИ
WWW.RGALI.RU

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анатолий Борисович Мариенгоф (1867–1962) остался в литературе как автор нашумевшего «Романа без вранья» — о годах совместной жизни, близкой дружбы, разрыва и примирения с Сергеем Есениным. Три издания «Романа» вышли одно за другим в 1927, 1928 и 1929-м, после чего книга была фактически запрещена и изъята из открытых фондов библиотек. В 1990 г. по экземпляру из фонда Мариенгофа в РГАЛИ с многочисленной авторской правкой, отражающей последнюю авторскую волю, «Роман» был опубликован в сборнике воспоминаний имажинистов Мариенгофа, Шершеневича и Грузинова «Мой век, мои друзья и подруги». Написанный одним духом, менее чем за три месяца, «Роман без вранья» остался не только самым известным, но и лучшим произведением Мариенгофа. Остался, вопреки брюзгливому отзыву Горького: «Автор — явный нигилист, драма не понята. А это глубоко поучительная драма, и она стоит не менее стихов Есенина…», и вопреки психологически понятным упрекам Мариенгофу в «сальериевской зависти посредственного литературного работника к таланту великого поэта», исходившим от потомков Есенина.

Руководитель эмигрантского издательства «Петрополис» Яков Блох (1892–1968) собирался устроить издание «Романа без вранья» в Америке. Он запросил у Мариенгофа в качестве предисловия автобиографию. Проект американского издания не осуществился, Но «нечто вроде автобиографии» Мариенгоф отправил Блоху. Написанная с обычной мариенгофовской пародоксальностью и легкостью, она сохранилась в фонде Я.Н. Блоха в РГАЛИ. При публикации мы сочли необходимым сохранить авторские особенности написания некоторых слов, поскольку имажинисты придавали большое значение собственной орфографии, начертанию звучащего слова.

- Анатолий Мариенгоф
  - ○

Анатолий Мариенгоф

БЕЗ ФИГОВОГО ЛИСТОЧКА

М.Г.

Ваше письмо от 18.3 получил. Посылаю, согласно Вашей просьбе, для американского из-ва нечто вроде автобиографии.

Я родился в 1897 году в ночь под Ивана Купала. По легенде в эту ночь цветет папоротник. Мечтатели ищут цветок, который открывает клады. И еще в эту ночь цвела Россия песнями и кострами. Я сам прыгал через пламя, обжигая пятки и юность.

Меня принимала сумасшедшая акушерка. Я родился с темными кудряшками и оттопыренными ушами. Говорят, что моя голова была похожа на вызревший подсолнух. Сумасшедшая акушерка приняла меня за чорта. Она пыталась отстричь мне голову ножницами. Каким-то образом моему отцу удалось убедить ее отказаться от этой благородной мысли. Прямо от нас акушерка уехала в дом умалишенных.

Все детство я проиграл в солдатики. У меня были оловянные дивизии, корпуса, армии. Однорукий генерал, лет пятнадцать тому назад влюбившийся в мою мать — тогда эпархиалку, был моим несменным товарищем и сверстником. Командуя оловянными эскадронами, маскируя в диванных подушках крохотные батареи, он проползал по ковру в моей детской всю вторую половину своей хронической влюбленности. Однажды я наголову разбил своего сверстника в генеральских лампасах. Мои снаряды из жеваной бумаги смели его пехоту. Буря, поднятая в ванне велосипедным насосом, пустила ко дну его эскадру. Тараканы, выпущенные из папиросной коробки, опрокинули его кавалерию, пробиравшуюся по спинке дивана в обход моего левого фланга. Однорукий генерал не пережил своего Аустерлица. Он умер от разрыва сердца на моей детской кроватке. Мама вынула из его заледеневшей руки оловянного есаула, командовавшего казачьей сотней, дрогнувшей перед тараканами. С тех пор я возненавидел войну. Мне ненавистна винтовка, вне зависимости от того, чья рука ее сжимает. Людоеду я отдам предпочтение перед офицером. Людоед, по крайней мере, не обучался в академии, как приготовить бифштексы из человеческого филея. У Жоффра, Гинденбурга и Брусилова нет

даже и этого оправдания. Несколько дюжин ведьм, сожженных на костре, вызывают в нас чувство снисходительного превосходства и покровительственной иронии над столетиями, закованными в рыцарские доспехи. А сами мы с деловым видом всаживаем штык в живот живого человека. Дикари! Если проповедь «не убий» все еще слишком культурна для нашего варварского мозга, пусть бы он, на худой конец, разжевал эгоистическое «не убий меня!»

Я терпеть не могу музыку. В детстве, когда при мне начинали играть на рояле, я брал отца за палец и говорил:

— Папа, уйдем отсюда. Здесь шумят.

Моя нелюбовь к музыке сделала меня революционером. Лет двадцать тому назад я в царский день сидел в ученической ложе нижегородского театра. Перед поднятием занавеса оркестр заиграл «Боже, царя храни». Мотивы и китайцы были для меня на одно лицо. Когда театр, как один человек, встал, я, пожирая глазами программу с фамилиями любимых актеров, остался сидеть на своем стуле. Гимн проиграли трижды. Трижды я ничего не видел и не слышал. А в антракте жандармский полковник с ватными усами распекал двенадцатилетнего ротозея.

— Революция, молодой человек, это свинство. А на вас мундир дворянского института. Позор!

Жандарм сообщил о моем преступлении директору нашего благонравного заведения. Я получил 36 часов карцера и прекрасный выговор в актовом зале, обрамленном императорскими портретами. 300 институтцев были выстроены в торжественные колонны. 600 глаз смотрели на меня с завистью. Было бы мудрено после этого не вообразить себя героем, мучеником за идею. Яд вошел в кровь.

В карцере я написал свое первое стихотворение. Жандарм был моей музой. Когда я показал стихотворение отцу, он нашел в каждой строчке по орфографической ошибке. Поэтических достоинств он не нашел. Это меня немножко огорчило.

Во время предсмертной агонии моей матери я играл в футбол. Я был капитаном команды и центр-форвардом. Матч я выиграл, а безоблачность детства проиграл. Его голубизна для меня осталась навсегда подернутой дымком, который ест глаза до слез.

После смерти матери мы перебрались из Нижнего Новгорода в Пензу.

Лето 1914 года я плавал юнгой на учебной шхуне. В Копенгагене, в матросском кабачке, я случайно не получил сифилиса. Моя возлюбленная чуть было не уговорила меня в память грехопадения вытатуировать над сердцем профиль ее живота. Увы, даже золотистая хризантема во вкусе Уайльда не

делала его прекрасным.

В день объявления войны наша трехпарусная лохань болталась между Стокгольмом и Ганге. Добродушная судьба посадила на русскую мину не нас, а какой-то чересчур торопливый пароходик. За четверть часа до гибели он наспех отсалютовал нашему Андреевскому флагу.

Мы возвращались в Россию через Финляндию. Перепуганные курортные дамы, галлюцинирующие немецкими десантами, дрались из-за мест в поезде, как уличные мальчишки. А баронесса Дорн укусила графиню Горсткину в зад. Графиня в номере Северной гостиницы в Петербурге показывала мне свои прокусанные панталоны. Это самое яркое воспоминание от моего первого светского романа и патриотизма русской аристократии.

В 1916 году я кончил гимназию. Мне предстояла высокая честь с винтовкой в руках защищать дорогое отечество. На прощальной пирушке я обронил:

— Лучше всю жизнь быть трусом, чем один раз убитым.

И благополучно окопался в тыловом учреждении. Моему афоризму повезло: оброненный в отдельном кабинете пензенского кафе-шантана, он уже через несколько недель, потеряв автора, стал народной мудростью. Он имел хождение до последних дней войны по всей Великой Российской империи. Из чувства национального ханжества москали, к сожалению, произносили его с еврейским акцентом.

В 1918 году чешские батальоны уходили из большевистской Москвы в Сибирь. Красный пензенский гарнизон, послушный приказу наркомвоена, предложил разоружиться очередным эшелонам. В ответ чехи штурмовали город. На крыше нашего дома стоял большевистский пулемет. Его ощупывали шрапнелями. Красногвардеец-пулеметчик попросил у меня табачку. Я принес ему на крышу коробку папирос. Отец крикнул из окна:

— Анатолий, иди в дом!

Я ответил:

— Папа, здесь весело.

Тогда он влез на крышу и сказал:

— Если не уйдешь, я сяду на эту трубу и буду сидеть.

Я пожал плечами: — Сиди.

Он сел и закрыл глаза руками. А через несколько минут я уже вносил его в комнату на руках. Пуля попала в пах. Я плохо знал анатомию. Мне казалось, что рана не смертельна. Отца я любил бесконечно. Позади у меня — детство, подернутое дымком, и чорная юность.

В том же году я сдал в набор первую книжечку лирических

стихов. Она называлась «Гардероб сердца». Типографские рабочие, зачитав рукопись на общем собрании, вынесли постановление: 1) стихи не набирать; 2) рукопись сжечь. Выяснилось, что я писал о любви, по их мнению, чересчур грубо. Это было в дни, когда волна красного террора поднялась до своей предельной высоты.

Несколькими неделями позже в московской газете «Советская страна» была напечатана моя поэма «Магдалина». Одна из глав кончалась следующим четверостишием:

Граждане, меняйте белье исподнее
Ваших душ!
Магдалина, я тоже сегодня
Приду к тебе в чистых подштанниках.

Моя чистоплотность привела критиков в бешенство. Тогда меня это несколько удивило. Я был очень зелен. О литературе у меня были превратные понятия.

У Аполлона физиономия парикмахера. У Венеры скверная фигура. Богиню не приняли бы манекеном ни в один приличный maison. Я понял, что вечного искусства не существует. Потому что нет вечных вкусов. Гёте так же надоедает, как рубленые котлеты. Спор между академией и молодыми — это спор февраля с мартом. Победителем всегда будет апрель. Да здравствует же весна! Когда я был пузырем, я считал своим долгом помогать ей в битвах. По целым дням я раскалывал лед на лужицах и ручейках. Мне казалось, что я приближаю цветенье. Критики поступают еще более наивно — они дуют из всех своих тщедушных легких на весеннюю капель в надежде ее заморозить. Глупцы!

В 1919 году я с Сергеем Есениным возглавил группу крайних поэтов. На нашем знамени было начертано «ОБРАЗ». Мы опубликовывали манифест за манифестом. Один левее другого. Во времена французской революции Анархасису Клоотсу пришлось РАЗУМ одеть в хорошенькую актрису, а ее раздеть донага. Тогда только он понравился. Чтобы заставить читать свои поэмы в годы, когда в любом декрете было больше романтизма, чем в Шиллере, мы были вынуждены вместо бумаги пользоваться седыми стенами древних монастырей и соборов, а вместо наборной машины — малярной кистью. Если бы не вмешательство милиции, московских «сорока сороков» хватило бы мне для полного собрания сочинений.

Мы давали лучшим улицам и площадям столицы свои имена.

Для этого, расставив дозоры, работали ночи напропалую, меняя эмалированные дощечки. Знаменитая Петровка неделю пробыла улицей Анатолия Мариенгофа. Почтение дворников было завоевано.

Однажды мы объявили всеобщую мобилизацию. Наши приказы, расклеенные по столбам и заборам, были копированы с афиш военного комиссариата. Когда зеленолицые обыватели в сопровождении плачущих жен собрались в указанном месте, мы оповестили, что «всеобщая мобилизация» объявлена в защиту новых форм поэзии и живописи. Как это ни странно, нас не побили.

К тридцати годам стихами я объелся. Для того чтобы работать над прозой, необходимо было обуржуазиться. И я женился на актрисе. К удивлению, это не помогло. Тогда я завел сына. Когда меня снова потянет на стихи, придется обзавестись велосипедом или любовницей. Поэзия не занятие для порядочного человека.

Лев Николаевич Толстой написал первый русский бульварный роман («Анна Каренина»), Достоевский — образцовый уголовный роман («Преступление и наказание»). Это общеизвестно. Мне не хотелось учиться ни у бульварного, ни у уголовного писателя. А лучше их не писал никто в мире. Что было делать? Не был ли я вынужден взять себе в учителя — сплетню. Если хорошенько подумать, так поступали многие и до меня. Но об этом они деликатно помалкивали. Например — месье Флобер. Какую развел сплетню про «Мадам Бовари»! Я обожаю кумушек, перебирающих косточки своим ближним. Литература тоже перебирает косточки своим ближним. Только менее талантливо.

Форме я учусь у анекдота. Я мечтаю быть таким же скупым на слова и точным на эпитет. Столь же совершенным по композиции. Простым по интриге. Неожиданным. Наконец, не менее веселым, сальным, соленым, документальным, трагическим, сантиментальным. Только пошляки боятся сантиментальности. А мещане — граммофона. Если к тому же мои книги будут равны по долговечности хорошему анекдоту и расходиться не меньшими тиражами, я смогу спать спокойно.

Рафаэль не написал ни Коперника, ни Галилея (своих современников). Из потаскух он делал мадонн, из цирюльников — святых, из площадных сорванцов — херувимов. Но искусство не прощает лжи. Рафаэль жестоко наказан. Его мадонны украшают конфетные коробки, святые — туалетное мыло, а херувимы служат марками для патентованных презервативов. Я пишу с живых людей — живых людей. Они занимаются у меня в

романах тем же делом, что и в жизни. Я даже не меняю им фамилии, если они не очень сердятся.

До сих пор я еще не выбрал себе родины. В Нижнем Новгороде любят Бетховена. В Москве обязательно выходить из трамвая через переднюю площадку. На Кавказе слишком эффектные горы. В Берлине делают суп из кирпичиков «магги». В Париже я боюсь стать импотентом. Венцы чашечку кофе запивают семью стаканами холодной воды. Это действует мне на нервы. Варшава — оперетка. А в Нью-Йорке и в рязанской деревне я еще не побывал.

Моя философия — поменьше философии. Как-никак, а из древнегреческого возраста мы выросли. Сократ сморкался в кулак.

Верую — в касторку.

Анатолий Мариенгоф

1930 год 1 апрель Ленинград

P.S. Пожалуйста немедленно подтвердите получение письма. Кстати, много любопытного в [неразб.]

(РГАЛИ. Ф. 2853. Оп.1. Д. 34)